

# Глава V

Я умоляла Моста не сообщать время моего приезда Немецкому союзу Рочестера, где я должна была выступать. Сначала мне хотелось повидать любимую сестру Елену. Я написала ей, что приеду, но умолчала зачем. Елена встретила меня на вокзале, и мы обнялись так, будто не виделись добрых десять лет.

Я рассказала Елене, почему приехала в Рочестер. Она уставилась на меня с открытым ртом: как я осмелилась взять на себя такую ответственность — предстать перед залом? Меня не было всего полгода, чему я научилась за такой короткий срок? Откуда во мне появилось мужество? И, как назло, выступать я должна именно в Рочестере! Наши родители никогда не оправятся от такого шока.

Я никогда раньше не злилась на Елену — она просто не давала для этого повода. Наоборот, это я обычно испытывала её терпение. Но слова о родителях привели меня в ярость. Мне сразу вспомнились Попеляны, растоптанная любовь Елены к Саше и прочие неприятные картины. Я позволила себе заговорить о нашей семье в резком тоне. Особенно часто в своей речи я упоминала отца: ведь именно его суровость превратила моё детство в сущий кошмар, и даже после замужества мне приходилось терпеть его самодурство. Я упрекнула Елену, что она позволила родителям отравить свою молодость. «Им почти удалось сделать то же самое со мной!» — воскликнула я. Я порвала с родителями все контакты, когда они согласились с мнением рочестерских блюстителей нравов и отреклись от меня. Но теперь моя жизнь принадлежит только мне, а дело, которым я занимаюсь, для меня ценнее жизни! Меня уже ничто не остановит, а уважение к родителям — тем более. Тут я заметила горечь на лице сестры и удержалась от продолжения. Я обняла Елену и принялась уверять её, что волноваться не стоит — нашей семье необязательно знать о моих планах. Собрание не получит широкой огласки, оно пройдёт в узком кругу членов Немецкого союза. Кроме того, евреи с Сент-Джозеф-стрит ничего не знают о передовых немцах — да и раз уж на то пошло, они не желают знать ничего, что не касается их серой, убогой жизни. Елена повеселела. Она сказала, что если моя речь будет такой же убедительной, как эти мои доводы, я произведу фурор. На следующий день я, наконец, предстала перед залом, но внезапно моя голова будто бы опустела. Я не помнила ни слова из своих записей. На мгновение я закрыла глаза — и тут произошло нечто странное. В сознании вспышкой промелькнули события из трёх лет моей рочестерской жизни: фабрика Гарсона — эта каторга и постоянные унижения, — неудачный брак, убийство в Чикаго... В ушах зазвенели последние слова Августа Шписа: «Придёт день, когда наше молчание прозвучит мощнее наших голосов, которые вы сегодня пытаетесь заглушить!»

И я начала говорить. Слова, которые я вовсе не запланировала в своей речи, лились нескончаемым потоком — всё быстрее и быстрее. В них было много страсти. Я рисовала ими образы героев перед виселицей, их пламенный идеал гармоничной и прекрасной жизни — вот мужчины и женщины, просветлённые свободой, и дети, которых преобразили радость и

внимание... Публика испарилась, исчез зал — я слышала только свою речь, свою исступлённую песнь.

Я закончила. Надо мной пронеслись бурные аплодисменты, раздался гул голосов, люди что-то говорили мне, но я не понимала ни слова. Вдруг я услышала, как совсем рядом кто-то сказал: «Ваша речь меня вдохновила, но что же всё-таки вы думаете о борьбе за восьмичасовой рабочий день? Вы ничего не сказали об этом». Меня как будто сбросили с пьедестала, я ощутила подавленность. Сказав председателю, что слишком устала, чтобы отвечать на вопросы, я отправилась домой — мне было одинаково дурно и физически, и морально. Я тихонько вошла в квартиру Елены и упала на кровать прямо в одежде.

Злоба на Моста (зачем он заставил меня поехать?), гнев на саму себя за то, что так легко поддалась его влиянию, убеждённость, что я обманула надежды слушателей — все эти чувства кипели во мне. Но всё же я обнаружила в себе и кое-что новое — я могу затронуть души людей словом! Странные и волшебные слова лились из меня, из каких-то неведомых мне глубин... Я разрыдалась, и не в последнюю очередь — от радости.

Я отправилась в Буффало — попытаться ещё раз. Точно так же подготовка к собранию заставила меня нервничать, но к аудитории я вышла абсолютно спокойной. То и дело повторяясь, я произнесла речь о бессмысленной трате времени и сил на борьбу за восьмичасовой рабочий день. Я высмеивала глупость рабочих, которые отстаивают такие подачи. В конце лекции (мне показалось, что она продлилась несколько часов) меня похвалили за чёткое и логичное выступление. Мне задали пару вопросов, и я ответила на них с непоколебимой уверенностью. Но я всё же ощущала тяжесть на душе. Я не смогла придать своей речи возвышенный дух — а как можно надеяться, что твоя речь затронет чужое сердце, если осталось безучастным твоё собственное? Я решила дожидаться утра и послать Мосту телеграмму с мольбой освободить меня от поездки в Кливленд. У меня не оставалось сил, чтобы снова повторять публике множество бессмысленных слов. Утром вчерашнее решение показалось мне малодушным и детским. Как я могла так быстро сдаться? Разве Мост сдался бы вот так? А Саша? Значит, мне тоже нужно продолжать. И я села на поезд до Кливленда.

Собрание было многолюдным и оживлённым. Был субботний вечер, и рабочие пришли вместе с жёнами и детьми. Все выпивали. Меня обступила группа людей, они предлагали закусить вместе с ними и попутно задавали вопросы. Как я попала в движение? Немка ли я? Чем я занимаюсь? Такое мелочное любопытство рабочих, от которых я ожидала интереса к передовым идеям, напомнило мне допрос в Рочестере в день моего прибытия в Америку. Это меня вконец разозлило. Содержание моего монолога было таким же, как в Буффало, но форма изменилась. Я обрушила саркастическую критику не на систему и капиталистов, а на самих рабочих, готовых предать великое будущее в обмен на временные достижения. Собравшимся, очевидно, нравилось, что о них говорили так прямолинейно: в нескольких местах они кричали, иногда рьяно аплодировали. Это было не собрание, а цирк, в котором я оказалась клоуном!

Тут в первом ряду поднялся светловолосый мужчина — ещё до этого я задержала свой взгляд на его худом измождённом лице. Он сказал, что понимает моё недовольство:

сокращение рабочего дня на пару часов да прибавка одного-двух долларов к недельной зарплате — требования слишком скромные. Понятно, что молодые люди пока ещё относятся ко времени с пренебрежением. Но что делать людям его возраста? Они вряд ли доживут до полного свержения капитализма. Им тоже нужно отказаться от борьбы за сокращение ненавистной работы на несколько часов? Это единственное, что они надеялись заставить хотя бы на склоне лет. Им что, следует навсегда забыть даже о такой малости? Они недостойны иметь чуть больше времени на чтение или прогулки на свежем воздухе? Почему мы так несправедливы к людям, для которых работа — тяжкие оковы?

Услышав искренние и логичные размышления мужчины о принципах борьбы за восьмичасовой рабочий день, я осознала: позиция Моста — лжива. Я совершаю преступление против рабочих и собственной совести, когда повторяю, как попугай, чужое мнение. Я поняла, почему мне так и не удалось покорить публику: я применяла дешёвые шуточки и колкости против трудящихся, чтобы скрыть собственную внутреннюю неуверенность. Мой первый опыт выступления на публике не увенчался успехом, на который рассчитывал Мост, но я получила ценный урок. Я перестала наивно верить, что мой учитель непогрешим и убедилась в необходимости мыслить самостоятельно.

В Нью-Йорке друзья приготовили мне роскошный приём: квартира просто сверкала чистотой и была заставлена цветами. Все с удовольствием выслушали мой рассказ о поездке и обеспокоились: как же отнесётся к изменениям в моём мировоззрении Мост?

Следующим вечером мы встретились с Мостом — снова в Террас-Гарден. Он помолодел за две недели моего отсутствия: на нём ловко сидел новый элегантный серый костюм с красной гвоздикой в петлице, а грубая борода была аккуратно подстрижена. Он радостно подошёл ко мне и подарил огромный букет фиалок. Две недели моего отсутствия, говорил Мост, показались ему невыносимо долгими. Он упрекал себя за то, что позволил мне уехать, когда мы стали так близки. Но теперь он никогда больше не отпустит меня — по крайней мере, одну.

Я несколько раз начинала рассказывать ему о своей поездке. Меня уязвило, что сам он ничего о ней не спрашивал. Разве не он послал меня выступать, да ещё и против моей воли? Он так хотел сделать из меня великую ораторшу, а теперь ему неинтересно, способной ли я оказалась ученицей?

Конечно, ему интересно, отвечал Мост. Но ему и так уже прислали отчёты: из Рочестера — как я была убедительна, из Буффало писали, что моё выступление заставило замолчать всех оппонентов, а из Кливленда, что, оказывается, я с резким сарказмом устроила разнос этим тупицам. «А как насчёт моих впечатлений? — спросила я. — Ты что, не хочешь их выслушать?» «Хочу, но в другой раз». Сейчас он хотел просто ощущать меня рядом — свою блондиночку, свою малышку.

Я взорвалась и заявила, что не позволю обращаться со мной как с самкой. Меня понесло дальше: «Я больше никогда не стану безропотно выполнять твои указы! Какой я была дурой! Да пять минут речи старого рабочего оказались правдивее всех твоих „убедительных“ фраз!» Я говорила и говорила, а Мост покорно молчал. Когда я закончила,

он подозвал официанта и заплатил по счёту. Мы вышли из кафе.

На улице Мост разразился громом оскорблений. В его определениях я представала змеей, гадюкой, бессердечной кокеткой, которая играла с ним в кошки-мышки. «Я послал тебя защищать моё дело, а ты предала его. Ты оказалась такой же, как все, — этого я больше всего и боялся. Знаешь, лучше я прямо сейчас выкину тебя из сердца и не буду изображать радость при встречах. Кто не со мной, тот против меня! — закричал он. — По-другому не будет!» Я ощутила невыразимую грусть: потерю такого человека, как Мост, мне не восполнить ничем. Дома я окончательно пала духом. Друзья разволновались и утешали меня как могли. Я рассказала им всё — не забыла упомянуть даже фиалки, которые машинально принесла с собой. Саша негодовал. «Фиалки в середине зимы! А в это время тысячи людей сидят без работы и голодают! — воскликнул он. — Я всегда говорил, что Мост разбазаривает деньги движения почём зря. И что ты за революционерка, если позволяешь себе принимать ухаживания? Ты что, не знаешь, что женщины интересуют Моста только физически? Почти все немцы такие — видят в женщинах лишь самок. Тебе придётся выбрать раз и навсегда: или я, или Мост. Он больше не революционер, он подвёл Дело». Саша в гневе вылетел из квартиры, а я так и осталась стоять — растерянная, сломленная... Мой новый мир пал. Но тут кто-то нежно взял меня за руку и тихонько завёл в мою комнату. Это был Федя.

Вскоре меня позвали выступить перед группой рабочих-забастовщиков, и я немедленно отправилась к ним. Приглашение прислал Йосеф Барондес — я уже была с ним знакома, его часто можно было увидеть среди молодых еврейских социалистов и анархистов. Они занимались тем, что объединяли евреев в профсоюзы: так появился, например, профсоюз часовщиков. На собрание пришли и более сведущие и талантливые ораторы, чем Барондес, но на их фоне он выделялся своей простотой. В этом симпатичном долговязом парне не было ни капли напыщенности. Барондес предпочитал мыслить практически, не сосредотачиваясь на теориях. Именно такой человек требовался рабочим, чтобы помогать им каждодневно бороться за свои права. Сейчас Барондес был главой профсоюза и руководил забастовкой часовщиков.



Йосеф Барондес

Каждого рабочего с Ист-Сайда, способного связать хоть пару слов на публике, вовлекли в борьбу. Профсоюз почти полностью состоял из мужчин. Исключение составляла Анна Неттер: эта девушка проявляла неустанную активность в рабочих и анархистских кругах. Она была одной из самых интеллигентных и энергичных женщин в движении, участвовала в разных протестах. Так, она вступила в союз «Рыцарей труда», где в 80-е годы ярче и напряжённее всего кипела борьба за права рабочего класса. Своего апогея она достигла в период решения «восьмичасового» вопроса — им занимались Парсонс, Шпис, Филден и другие парни, которые потом и умерли в Чикаго. Спад «рыцарства» начался, когда Теренс Винсент Паудерли, Великий магистр «Рыцарей труда», стал сотрудничать с теми, кто убивал его товарищей. Все знали, что Паудерли продан за тридцать сребреников: на стороне он помогал тянуть уже за совсем иные верёвочки — на этих-то верёвочках, в конце концов, и повесили парней из Чикаго. Передовые рабочие покинули организацию, она стала прибежищем безработных конформистов.

Анна Неттер в числе первых вышла из предательского союза. Сейчас она состояла в организации «Пионеры свободы», как и большинство активных евреев-анархистов Нью-Йорка. Анна работала там не жалея сил, всё своё время и скудные заработки она отдавала движению. Её активно поддерживал отец — он, когда-то религиозный ортодокс, превратился в атеиста и социалиста. Отец Анны был человеком исключительных достоинств, умнейшим теоретиком; он обладал лучшими человеческими качествами, любил жизнь и молодость. Дом Неттеров, расположенный за их маленькой овощной лавкой, стал интеллектуальным центром, раем для приверженцев радикальных взглядов. Жена Неттера всегда держала двери открытыми — со стола никогда не исчезал самовар и обильные закуски. Мы, молодые бунтари, были хоть и невыгодными, но благодарными посетителями лавки Неттеров. Я никогда не знала, что это такое — настоящий дом. А у Неттеров я будто бы нежилась в солнечных лучах: такое взаимопонимание сложилось там между детьми и родителями. Собрания в доме Неттеров проходили чрезвычайно интересно: вечера обсуждений всегда оживлялись добродушными шутками нашего доброго хозяина. Среди завсегдатаев дома были очень способные молодые люди, чьи имена получили широкую известность в нью-йоркском гетто. Так, к Неттерам заходил Давид Эдельштадт — вдохновенный идеалист, «духовный буреизвестник», чьи революционные песни любил каждый радикал, говорящий на идише. Бывал в этом доме и Йосеф Бовшовер (он писал под псевдонимом Бэзил Даль) — легковозбудимый, импульсивный мужчина с исключительным поэтическим даром. Михаэль Кон, Моше Кац, Макс Гиржданский, Роман Луис и многие другие молодые люди, способные и многообещающие, собирались у Неттеров и превращали наши встречи в настоящие интеллектуальные празднества. Йозеф Барондес тоже часто появлялся на этих вечерах. Однажды он попросил меня помочь в организации забастовки.

Я отдалась этой работе со всей своей страстью, она поглотила меня настолько, что я не могла заниматься ничем другим. Моей задачей было вовлечь девушек-торговок в забастовку. Для этого организовывались собрания, концерты, приёмы, танцы. На мероприятиях убедить девушек в том, что необходимо делать одно дело с их бастующими братьями, было несложно. Мне приходилось много говорить, и я всё меньше и меньше волновалась на сцене. Вера в справедливость требований забастовки помогала мне усилить накал своих речей и передавать убеждённость слушателям. Через несколько недель ряды бастующих, благодаря моей работе, пополнились десятками девушек.

Я снова ожила. На танцах я не знала усталости и веселилась вовсю. Однажды вечером молодой парень — двоюродный брат Саши — отвёл меня в сторону. С траурным видом, как будто собираясь сообщить мне о смерти дорогого товарища, он прошептал, что анархистке, выступающей на публике, не следует танцевать, по крайней мере с такой беспечной развязностью. «Это недостойно, если вы хотите иметь влияние в среде анархистов. Ваше легкомыслие только навредит Делу». Меня привело в ярость настолько наглое вмешательство какого-то мальчишки в мою жизнь. Я велела ему поискать себе другое занятие: и без него хватает тех, кто постоянно тыкает мне Дело. Я не верю, что Дело, наш прекрасный идеал — анархизм, свобода от навязанных устоев и предрассудков — может призывать нас отречься от радостей жизни. Я настаивала: наше Дело не должно требовать, чтобы я стала монашкой, а наше движение не должно превращаться в монастырь. Если Дело такое предусматривает — я не хочу за него бороться. Я хочу свободы, права на самовыражение, всеобщего права на нечто красивое, яркое. Анархизм для меня — именно это. Я буду жить именно так, не оглядываясь на остальной мир, на тюрьмы, преследования — ни на что. Да, даже если меня осудят самые близкие товарищи, я буду жить прекрасным идеалом.

Я вошла в раж, мой голос то и дело срывался. Нас обступили люди. Кто-то аплодировал, кто-то протестовал, что я неправа — превыше всего должно быть Дело! Все русские революционеры поступали именно так: не обращали никакого внимания на себя. Это не что иное, как узкий эгоизм — желание наслаждаться тем, что отделяет тебя от движения. В этом гуле Сашин голос звучал громче всех.

Я повернулась к нему. Он стоял рядом с Анной Минкиной. Я заметила их интерес друг к другу задолго до нашей последней размолвки. Тогда Саша съехал с нашей квартиры на другую, и Анна ходила туда чуть ли не ежедневно. Впервые за последние недели я видела их обоих. Сердце сжалось от желания оказаться рядом с моим необузданным, своевольным любовником. Мне так хотелось назвать его Сашей, душенькой, протянуть к нему руки, но он смотрел на меня сурово и укоряюще — пришлось одёрнуть себя. Тем вечером я больше не танцевала.

Вскоре меня позвали в зал заседаний, где уже работали Йосеф Барондес и прочие лидеры забастовки. Около Барондеса я заметила профессора Томаса Гамильтона Гарсайда. Он был шотландцем; ранее читал лекции в «Рыцарях труда», а теперь возглавлял забастовку. Гарсайд выглядел лет на тридцать пять или около того, был высок, бледен и казался сильно ослабленным. Он вёл себя безукоризненно вежливо и располагал к себе, а чем-то даже напоминал изображения Спасителя. Он всегда старался уладить конфликты, снять противоречия.

Гарсайд сказал, что мы проиграем забастовку, если не пойдём на компромисс. Я не согласилась с ним и выступила против его предложения. Несколько членов комитета поддержали меня, но авторитет Гарсайда перевесил. Забастовку продумали в соответствии с его замыслом.

В напряжённые недели забастовки энергичных действий почти не требовалось: дни заполняли лекции, вечера — встречи у Неттеров или в нашей квартире и попытки в

очередной раз найти работу. Федя стал рисовать пастелью и увеличивать фотографии. Он заявил, что не может больше выбрасывать наши заработки (мои и Елены) на краски — всё равно ему не суждено стать великим художником. Я подозревала, что дело в другом: конечно же, он хотел зарабатывать, чтобы освободить меня от тяжёлой работы.

Я всё время неважно себя чувствовала — особенно во время менструаций; эти дни я постоянно проводила в постели, борясь с мучительной болью. Это не прекращалось с того самого первого раза, когда я получила от мамы пощёчину. Но однажды я простудилась по пути из Кёнигсберга в Петербург, и моё здоровье ещё больше ухудшилось. В конце 1881 года мы собирались тайно пересечь границу — я, мама и два моих брата. Зима в тот год была особенно суровой. Наши проводники сказали маме, что идти придётся по глубокому снегу и даже через полузамёрзший родник. Маму волновало моё состояние — за пару дней до начала месячных я схватила простуду, поскольку была слишком взбуждена отъездом из Кёнигсберга. В пять утра мы отправились в путь, дрожа от холода и страха. Вскоре мы добрались до ручья на русско-немецкой границе. Само предчувствие погружения в ледяную воду парализовало нас, но выхода не было: либо мы пойдём в воду, либо нас перехватят и, возможно, убьют пограничные солдаты. Они отвернулись в другую сторону, получив от нас пару рублий, но предупредили, что нужно поторапливаться.

Мама погрузила на себя вещи, а я несла младшего брата. Мы вошли в воду. Внезапный холод сковал моё тело. В районе позвоночника появились неприятные ощущения, уколы в спине, низу живота и ногах — будто меня пронзают железные прутья. Хотелось кричать, но страх перед солдатами сдерживал меня. Наконец всё закончилось. Колики прекратились, но я всё ещё стучала зубами и была в поту. Мы кинулись к гостинице на российской стороне. Мне дали горячего чая с малиной, обложили тёплыми кирпичами и накрыли большим пуховым одеялом. Всю дорогу до Петербурга меня лихорадило — боль в спине и ногах была невыносимой. Я лежала в постели неделями и страдала из-за спины ещё несколько лет.

В Америке я рассказала о своей проблеме Золотарёву, и он отвёл меня к специалисту. Тот стал настаивать на операции. Его удивляло, как я вообще выдерживаю подобные боли и могу иметь при этом физический контакт с мужчинами. Друзья передали мне слова терапевта: если не провести операцию, то я никогда не избавлюсь от болей и не смогу получать удовлетворения от сексуальной жизни.

Золотарёв спросил, хочу ли я иметь детей. «Если ты сделаешь операцию, — объяснял он, — то сможешь родить ребёнка. В твоём теперешнем состоянии это невозможно».

Ребёнок! Я безумно любила детей, сколько себя помню. Ещё совсем маленькой я завистливо наблюдала за странными малышами, с которыми играла соседская девочка, — она одевала их и укладывала спать. Мне объяснили, что это не настоящие дети, а просто куклы, но я всё равно считала их живыми — они были такие красивые... Я очень хотела иметь куклу, но у меня их так никогда и не было. Мне только исполнилось четыре, когда родился мой брат Герман. Он стал для меня живой куклой. А когда два года спустя появился на свет маленький Лейбеле, моей радости не было границ. Я не отходила от малыша ни на минуту, укачивала его, пела колыбельные. Однажды мама положила Лейбеле ко мне в постель — ему был уже почти год. Едва она ушла, ребёнок заплакал. Я подумала, что он проголодался,

и вспомнила: в таком случае мама даёт ему грудь. Я решила сделать то же самое: взяла братишку на руки и прижала его маленький ротик к себе. Но вместо того, чтобы пить, он начал задыхаться — весь посинел и жадно заглатывал воздух. Мама вбежала в комнату и потребовала объяснить, что я сделала с малышом. Узнав, в чём дело, она рассмеялась, но потом отшлёпала и отругала меня. Я рыдала — не от боли, а потому, что не могла кормить грудью Лейбеле. Я стала участливее относиться к нашей служанке Амалии, когда узнала, что у неё скоро родится «ein Kindchen»<sup>27</sup>. Мне всегда так нравилось нянчить чужих малышей, и вот, наконец-то, пришло время, когда и я смогу постичь таинство и чудо материнства — родить своего ребёнка! Закрыв глаза, я погрузилась в упоительные мечты...

Но тут моё сердце будто бы сжала жестокая рука. Я невольно вспомнила собственное страшное детство и тоску по родительской любви, которую была не способна утолить одна только мама. Отец сурово относился к нам — я не могла забыть его вспышки гнева, во время которых он избивал меня и сестёр. Особенно отпечатались в моей памяти два ужасающих случая. Как-то раз отец настолько сильно сёк меня ремнём, что младший брат Герман проснулся от моих криков. Он вбежал к нам и укусил отца за лодыжку — только это прервало наказание. Тогда Елена отвела меня в свою комнату, промыла израненную спину, принесла молока. Потом она крепко обняла меня. Её слёзы мешались с моими, и до нас всё ещё доносились крики отца: «Я убью её! Я убью эту негодницу! Я научу её слушаться!»

Второй случай произошёл в Кёнигсберге. Мои родители разорились в Попелянах, и теперь средств на достойное обучение для меня и Германа не хватало. Городской раввин — наш дальний родственник — взялся уладить проблему, но настоял, чтобы мы ежемесячно отчитывались перед ним о своём поведении и успехах в школе. Я ненавидела эту унижительную процедуру всей душой, но как бы то ни было, отчёт приходилось вести. Однажды мне снизили оценку за поведение. Дрожа от страха, я поплелась домой. Мне не хватало духу показать дневник отцу — отметку я предъявила матери. Она начала плакать и сказала, что я погублю своей неблагодарностью и своеволием всю семью. Бумагу придётся показать отцу. Но мама обещала встать на мою защиту, хоть я этого и не заслуживаю. С тяжёлым сердцем я ушла от неё. Я стала смотреть из окна веранды на поля вдалеке — там играли дети. Казалось, они живут совсем в другом мире — в моей жизни развлечений было мало. Странная мысль мелькнула в голове: как было бы прекрасно заболеть чем-нибудь страшным! Тогда отец точно бы смягчился. Я не помнила, бывал ли он вообще добродушным — разве что только на Суккот, осенний праздник ликования. Отец совсем не пил, лишь немного — по еврейским праздникам. На Суккот он становился весёлым, собирал вокруг себя детей, обещал купить нам новые платья и игрушки. Этот праздник бывал одним из немногих светлых воспоминаний за год, и мы всегда ждали его с нетерпением. Сколько я себя помнила, отец говорил, что не хотел моего рождения. Он ждал мальчика, а «эта свинья» (моя мать) обманула его. А если я вдруг смертельно заболею, он наверняка пойдёт и никогда больше не будет меня бить, заставляя стоять в углу часами или ходить туда-сюда со стаканом воды в руках. «Если хоть капельку прольёшь, я тебя высеку!» — угрожал он. Розга и маленькая табуретка всегда стояли на виду. Они стали символами моих страданий. После многих попыток и бесчисленных наказаний я наконец научилась носить стакан, не проливая воду. Я ужасно уставала от этого бессмысленного занятия, и потом по несколько часов не могла прийти в себя. Отец был человеком привлекательным и энергичным. Я любила его, хоть и боялась. Мне хотелось, чтобы и он любил меня, но я не



знала, как смягчить его сердце. Строгость отца только подстёгивала меня делать всё наперекор. «Почему он такой жестокий?» — думала я на веранде, погрузившись в воспоминания.

Вдруг я почувствовала ужасную боль в голове, будто меня ударили железным прутом. Это отец разбил кулаком ободок, которым я убирала свои непослушные волосы. Он избивал меня и таскал туда-сюда, бешено крича: «Ты меня опозорила! Ты всегда будешь такой! Ты не мой ребёнок, ты не похожа ни на меня, ни на мать, ты даже ведёшь себя по-другому!» Елена пыталась помочь мне. Она вырывала меня из рук отца, но то и дело попадала под его удары. Наконец, отец устал. У него закружилась голова, и он рухнул на пол. Елена крикнула матери, что отец потерял сознание, и поспешила отвести меня в свою комнату.

Вся моя любовь к отцу вмиг обернулась ненавистью. После того случая я старательно избегала его и не разговаривала с ним — разве только отвечала на прямые вопросы. Я машинально выполняла то, что велел мне отец; пропасть между нами со временем только ширилась. Каждый раз, когда я сбегала из дома, меня ловили — и вот я снова была закована в цепи отцовских приказов. Из Санкт-Петербурга в Америку, из Рочестера замуж — так, в попытках скрыться от отца, и проходила вся моя жизнь. Последний раз я рискнула перед самым отъездом в Нью-Йорк.

Мама плохо себя чувствовала, и я пошла к ней, чтобы помочь с уборкой. Я драила полы, а отец пилил меня за то, что я бросила Кершнера. «Ты распущенна, — повторял он. — Ты всегда позорила нашу семью». Он всё говорил, а я продолжала мыть пол.

Вдруг что-то щёлкнуло во мне. Одинокое и горестное детство, мучительное отрочество, безрадостная юность... Обо всём этом я вдруг и принялась рассказывать отцу. Он ошарашенно слушал мои обвинения: после каждого я ударяла щёткой о пол. Я перечислила ему все случаи, когда он бывал со мной жесток. От новой обиды я вспомнила всё, что терзало меня днём и пугало по ночам: большую казарму вместо дома, где гремел злой голос отца, его дурное обращение со слугами, суровость с матерью. Я сказала, что если и не стала проституткой, как он меня часто называл, то это не его заслуга. Я не раз была на грани того, чтобы пойти на панель. Только Елена, её любовь и преданность спасли меня.

Слова лились из меня бурным потоком, я била щёткой о пол со всей ненавистью, которую испытывала к отцу. Ужасная сцена закончилась моей истерикой. Братья отнесли меня наверх и уложили в постель. Утром я покинула дом и больше не видела отца, а чуть позже пришло время отъезда в Нью-Йорк.

С тех пор я узнала, что моё несчастное детство не исключение из правил: многие тысячи нежеланных детей были изувечены бедностью и равнодушием. Мой ребёнок не должен пополнить ряды этих несчастных жертв.

Была и ещё одна причина, из-за которой я колебалась по поводу операции. Всё больше меня захватывал мой новый идеал, и я решила посвятить всю жизнь служению ему. Чтобы выполнить эту миссию, мне необходимо остаться независимой. Годы боли и подавленного желания иметь ребёнка — чем они были в сравнении с той ценой, которую заплатили

многие мученики? Я тоже заплачу свою цену и переживу страдания, найду выход для нереализованного материнского чувства и буду любить всех детей. Операцию мне не сделали.

Несколько недель отдыха и забота друзей — Саши, вернувшегося домой, сестёр Минкиных, Моста, который часто звонил и посылал цветы, и, главное, нашего художника — вернули меня к жизни. Я поднялась из постели с воскресшей верой в себя. Мне стала понятнее позиция Саши: я тоже чувствовала, что преодолею все невзгоды на пути к своему идеалу. Разве не я преодолела самое сильное, природное женское желание — иметь ребёнка?

За эти недели мы с Федей стали любовниками. Я осознала, что моя любовь к Феде никак не пересекается с любовью к Саше. Оба будили во мне разные эмоции, открывали разные миры. Два чувства не конфликтовали между собой, а лишь дополняли друг друга.

Я рассказала обо всём Саше. Его ответ был ещё лучше и прекраснее, чем я ожидала. «Я верю в твою свободу любить», — сказал он. Он чувствовал в себе замашки собственника и ненавидел их, как и все прочие отголоски своего буржуазного происхождения. Возможно, если бы Федя не был его другом, он бы ревновал — он знал, что может быть очень ревнив. Но Федя был не только другом, но и товарищем по борьбе, а я была не просто любимой женщиной. Сашины чувства ко мне были неизмеримы, но революционная борьба имела для него ещё большую важность.

Когда Федя в тот день вернулся домой, друзья обнялись. Допоздна мы обсуждали планы на дальнейшую жизнь. Перед тем, как разойтись, мы заключили соглашение — посвятить себя Делу без остатка, вместе умереть, если будет нужно, или продолжать жить и работать ради идеала, даже если кому-то придётся отдать за него жизнь.

Дни и ночи, которые последовали за тем вечером, теперь освещал новый, восхитительный свет. Мы лучше узнали друг друга и стали терпимее.

---

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 17 апреля 2025 03:33:45

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 17 апреля 2025 03:34:29